

**ПЕТЛЯ И КАМЕНЬ
В ЗЕЛЕННОЙ ТРАВЕ**



ОТ АВТОРОВ

Известно: у каждой книги своя судьба. И особый интерес вызывают судьбы нетривиальные.

Думается, роман «Петля и камень...» переживает именно такую, необычную судьбу.

Книга была задумана и написана в 1975–1977 годах, когда короткая хрущевская оттепель осталась далеко позади, — в самый разгар брежневского «застоя», в условиях, при которых строить какие бы то ни было политические прогнозы было, по крайней мере, авантюрным легкомыслием.

Все видели, к чему мы пришли; никто не мог сказать — куда мы идем.

Разгул всесильной административной машины, новый культ личности, океан демагогической лжи, в котором утонуло наше общество, нарастающая экономическая разруха, всеобщее бесправие — вот социальная и духовная атмосфера, в которой создавался и которую призван был воссоздать наш роман.

Задача казалась нереальной, тем более что авторы «умудрились» положить в его основу две самые запретные, самые острые, самые неприкасаемые «зоны»: незаконную деятельность органов госбезопасности того периода и — «еврейский вопрос»! И притом взяли себе принципом описывать правду, одну только правду, ничего, кроме правды...

Роман, судя по всему, был заранее обречен. Он и лежал «в столе» до поры, доступный лишь самым близким людям. С учетом печального опыта гроссмановской «Жизни и судьбы», сохранившейся просто чудом, авторы не показывали рукопись в редакциях, не хранили ее дома, а фотопленку с зашифрованным текстом укрыли в надежном месте, отклоняя лакомые предложения западных издателей, — это уже был горький урок Синявского и Даниэля.

Но рукописи не горят.

И приходит однажды их пора.

*Август 1989 года
Москва*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Подробности разгадки я не знаю,
Но, в общем, вероятно, это знак
грозящих государству потрясений.

В. Шекспир. Гамлет

1. АЛЕШКА. 9 ИЮЛЯ 1978 ГОДА. МОСКВА

Я знал, что это сон.

Небыль, чепуха, болотный пузырь со дна памяти. Дремотный всплеск фантазии пьяницы. Судорога похмельного пробуждения.

Но сил прогнать кошмар не было. И не было мысли вскочить, потрясти головой, закричать, рассеять наваждение...

Услышал негромкий стук, даже не стук, а тихий треск расколовшегося дерева. Торчит из двери огромный нож. Кинжал с черной серебряной ручкой, весь в ржавчине и зелени, еще мелко трясется. И прежде чем он замер, я разглядел на рукоятке выпуклые буквы «SSGG». И хотя я никогда в жизни не видел этого кинжала, я сразу сообразил, что это повестка тайного страшного суда ФЕМЕ. Не шелохнувшись, лежал я на тахте, глядя с ужасом на вестника кары, и пытался сообразить — почему мне? За что?

Дверь неслышно растворилась, и я увидел их. Трое в длинных черных капюшонах с прорезями для глаз и рта. Но обувь у них была обычная — черные полуботинки. И форменные брюки с кантом.

Они молча смотрели на меня, но во сне не нужны слова, мы хорошо понимали друг друга.

— Ты знаешь, кто мы? — беззвучно спросил один.

— Да, гауграф. Вы судьи Верховного трибунала ФЕМЕ.

— Ты знаешь, кто уполномочил нас?

— Да, гауграф. Вас наделили беспредельными правами властителей мира.

— Ты знаешь, что мы храним?

— Да, гауграф — вы храните Истину и караете праздномыслов, суесловов и еретиков.

— Ты знаешь символы трибунала ФЕМЕ?

— Да, гауграф. Штрих, шийн, грюне грас — «петля и камень на могиле, заросшей зеленой травой».

— Значит, тебе известен приговор ФЕМЕ?

— Да, гауграф. Суд ФЕМЕ выносит один приговор — смерть. Но я ведь никогда и ничего...

— Разве? — молча засмеялся судья. — А как хранится тайна ФЕМЕ?

— За четыреста лет никто не прочитал ни одного дела ФЕМЕ, и на каждом архивном пакете стоит печать: «Ты не смеешь читать этого, если ты не судья ФЕМЕ...»

— Ты хотел нарушить тайну ФЕМЕ, — мертво и решенно сказал гауграф.

— Но я ничего не видел! Я ничего не знаю! Я не могу нарушить тайну!..

— Ты хотел узнать — этого достаточно! — молча всколыхнулись черные капюшоны, и сквозь обесиливающий ужас забились мысль-воспоминание, что я их знаю.

— Я не хочу умирать! — разорвало меня животным пронзительным воплем, но гауграф протянул руку к кинжалу, и обрушился на меня грохот и пронзительный вой...

...Дверной звонок гремел настырно, вьедливо. Тяжелыми ударами ломилось в ребра огорченное страхом и пьянством сердце.

Я приподнялся на постели, но встать не было сил — громадная вздувшаяся голова перевешивала тщедушное скорченное туловище, и весь я был как рисунок человеческого тела в материнской утробе. В огромном пустом шаре гудели вихри алкогольных паров, их горячие смерчки вздымали, словно мусор с тротуара, обрывки вчерашней яви. Мелькали клочья ночного кошмара, чьи-то оскаленные пьяные хари — с кем же я пил вчера? — и вся эта дрянь стремилась разнести на куски тоненькую оболочку моего надутого черепа-шара. Кости в нем были тонюсенькие, как яичная скорлупа, и я знал, что положить ее обратно на подушку надо очень бережно.

Пусть там звонят хоть до второго пришествия — мне следует осторожно улечься, очень тихо, чтобы не разбежались длинные черные трещины по скорлупе моей хрупкой гудящей головы, натянуть одеяло повыше, подтянуть колени к подбородку, вот так, теснее, калачиком свернуться — так ведь и лежит в покое, тепле и темноте многие месяцы зародыш. Я зародыш, бессмысленный пьяный плод рода человеческого. Не трогайте меня — я не знаю ничьих тайн, оставьте меня в покое. Я хочу тепла и темноты. На многие месяцы. Я еще не родился. Я сплю, сплю. В моей огромной пустой голове шумит сладкий ветер беспамятства...

Потом — прошло, наверное, полторы-две вечности — я открыл глаза снова и увидел крысу. Худощавую, черную, в модных продолговатых очках. Я смотрел на нее в щель из-под одеяла — может быть, не заметит, что я уже не сплю. Но она сидела почти рядом — за столом — и в упор смотрела на меня. Я не шевелился, прикидывая потихоньку — может быть, юркнет крыса в дверь, вслед за ночными судьями?

Крыса посидела, пошевелила длинной верхней губой, где у всех нормальных крыс должны быть щетинистые рыжие усы, а у этой ничего не было, и сказала:

— Детки, в школу собирайтесь, петушок пропел давно...

Голос у крысы был тонкий и культурный. Но я на эти штучки не покупаюсь. Лежал не дыша, как убитый.

— Алешка, брось выдрючиваться, вставай, — сказала крыса, и ее культурный голос чуть вибрировал, будто она выдувала слова через обернутую бумагой расческу — есть такой замечательный инструмент у мальчишек.

Как прекрасно было бы мне жить в плаценте постели, маленьким, еще не родившимся в этот паскудный мир плодом! Как было бы тепло, темно и покойно во чреве похмельного сна! Но возникла крыса, и надо рождаться в сегодняшний день. И я высунул в мир голову — благо за промчавшиеся вечности стала она много меньше и тверже.

— Здравствуй, Лева, — сказал я крысе, и этот мой первый новорожденный звук был сиплым и серым, как утро за окном.

— Тебе сварить кофе? — спросила крыса.

— Свари, пожалуйста, Лева, мне кофе, — ответил я вежливо, хотя хотелось мне не кофе, а пива. — А ты как попал сюда?

— А мне открыл твой сосед — такой милый старикан...

Милый старикан Евстигнеев — пенсионер конвойных войск, веселый стукач-общественник — впустил ко мне крысу.

Но Лева знал, что я спрашиваю его не о том, кто открыл ему дверь, а зачем он пришел ко мне. Штука в том, что когда я приоткрыл глаз и увидел его острый голодный профиль, чуть смазанный металлической оправой очков, я уже понял: случилась лажа, день моего новорождения отмечен какой-то крупной неприятностью.

Приятные неожиданности могут случаться и со мной, допускаю: умер Мао Цзэдун, мне дадут Государственную премию РСФСР или я угадаю шесть цифр в спортлото, но ни с одной из этих приятностей ко мне не явится спозаранку Лев Давыдович Красный. И не станет варить мне кофе для опохмелочки. Он мне принес гадость, огорчение, боль — это все уже здесь, в моей комнате, он насыпает все это про-

тивное вместе с сахаром и коричневым порошком кофе в старую, за-копченную турку, чтобы подать мне в постель этот странный напиток с горьковатым ароматом кофе и кислым вкусом беды. А я только что родился, я еще не оторвал пуповину сна...

Милый старикан-стукач впустил ко мне заботливую крысу.

Я вылез из постели и увидел, что спал в рубашке, брюках и носках. Пиджак валялся на полу, один башмак у двери, а другой почему-то на стуле. Не помню я — как вернулся домой.

Красный смотрел на меня с отвращением. У него неправильная фамилия — он не красный, он как петлюровский флаг — весь желто-блакитный. Голубые подглазья, желтые скулы, синеватый от бритья подбородок. Лихая замшевая куртка — нежно-оранжевая и роскошный небесный бантик. Он не Красный. Он желто-блакитный.

— Хорошо отдохнул вчера? — спросил Лев Давыдович Жовто-блакитный.

— Замечательно. Жаль, что тебя не было, — сказал я совершенно искренне. Там, где я вчера налузгался, кто-нибудь обязательно поколотил бы крысу.

— Ты куда? Кофе уже готов! — закричал он, будто испугался, что я смоюсь со своей жилплощади и он не успеет укусить меня.

Успеет, наверняка успеет.

— Я в уборную. Можно?

— Спасибо за доверие, — засмеялся Лева, а длинные желтые зубы выдвинулись грозно вперед, и я на всякий случай попятился.

В гулком коридоре огромной коммунальной квартиры было совсем пусто, и только Евстигнеев отирался рядом с кухней, перекрывающая дорогу в сортир.

— Доброго вам здоровьичка, Алексей Захарович, — сказал он с чувством.

— Здорово, Евстигнеев.

— Дружок к вам пришел спозаранья, звонил, звонил, я уж и пригласил его пройти. Видали?

— Нет, не видал.

— Не видал?! — всполошился Евстигнеев. — Он как вошел к вам, так я, почитай, все время из коридора не отлучался.

Рыхлые склеротические щеки Евстигнеева стали наливаться си-невой.

— Куда же он подеваться мог? — волновался старичок, и все его надувное-набивное лицо перекатывалось серыми комьями. В тряпичной душе филера бушевали сильные страсти — ищейка сорвалась со следа.

Я поманил его пальцем и сказал на ухо тихо и значительно:

— Он, наверное, вышел через окно...

— Куда? — совсем взбесился Евстигнеев. — С пятого этажа-то?

— В эмиграцию подался. Знаешь, они какие!

А сам нырнул в уборную. Уселся и стал читать старые газеты, аккуратно сложенные в мешочек на двери. Газета сообщала, что строители сделали очередной трудовой подарок населению — пустили вторую очередь комбината по выпуску тринилфинилакриловой кислоты, в связи с чем больше нам не надо волноваться за судьбу анилнитрилового производства.

Прекрасно, хоть одна проблема для меня решена.

Вот тоже интересно — прополку сорняков на полях закончили в целом на неделю раньше. Славу богу, прямо гора с плеч.

Елабужские машиностроители взяли обязательство выпустить сверхплановой продукции на сто двадцать тысяч рублей. Какая там у них продукция — выяснить не удалось, потому что рядом с заметкой из газеты был опрятно вырезан прямоугольный кусок. Этой сортирной цензурой занимался Евстигнеев — он забирает из уборной к себе в комнату газеты и ножницами вырезает с первых полос официальные фотографии, чтобы мы не вдохновляли эти вдохновенные лица способом, особо унижительным для их достоинства.

Со стоном и рокотом бушевала вода в осклизлых сопливых трубах, черные космы паутины провисли по углам. По стене полз клоп. Тьфу, пропадите вы!

Между уборной и моей комнатой метался обезумевший от горя стукач, он крутился под дверью, как кот, вожаденно и трусливо, его снадали тоска и желание просочиться в комнату через щелку под дверью.

— Алексей Захарыч, а как же теперь... — Он проснулся ко мне, но я отодвинул его несокрушимой рукой — железной десницей, красивой и могучей, как рука миролюбивых народов на плакатах, где она перехватывает хилые алчные грабки мировых империалистов, милитаристов, сионистов и прочих Пиночетов.

— Пошел вон, старик, — сказал я ему застенчиво. — Не светись у моей замочной скважины, не то я тебя ненароком дверью прищемлю...

— Дык... дык... Вить... — закудахтал Евстигнеев, но я уже был в комнате. Вместе с Жовто-блакитной крысой.

Лев Давыдович чинно кушали кофе. И вид у него был абсолютно невозмутимый, будто он каждое утро ненароком забегает ко мне вестешками перекинуться, кофейком побаловаться, о совместной

вечерней жизни договориться. Но в его маленьком мозгу, ладно скроенном, хитро скрученном, нашей жизнью зло надrochenном — по скользким глухим лабиринтам бесчисленных извилин и перегонным стрелкам нейронов уже мчались незримые электрические сигналы моей беды. И хотел я изо всех сил оттянуть разговор. Да крыса не спешила вцепиться в меня.

— Пей кофе, остынет, — сказал он.

— А у тебя выпить, случайно, не найдется? — спросил я безнадежно.

— Я по утрам не пью.

— Не ври, Лева. Ты и по вечерам не пьешь. Ты бережешь себя для народа.

Он пожал своими замшевыми худыми плечиками, и было в его коротком жесте неизбывное море презрения.

А я стал стягивать с себя все — ношеное, мятое, спаное, жеваное, грязное, и, пока я ходил голый по комнате, доставая из шкафа белье и с вешалки купальный халат, Жовто-блакитный смотрел на меня в упор с ленивым любопытством, и никакой неловкости он не испытывал, и не пришла ни на миг ему мысль, что надлежало бы отвернуться, — он смотрел на меня безразлично, как на животное, и чужая нагота его не смущала.

— Сейчас приду, — буркнул я и отправился в ванную.

В коридоре загрохотал мне навстречу копытами, подранком-кабаном покатился Евстигнеев.

— Я... с... тобой... Алексей... Захарыч... поговорю... в... другом месте...

— Цыц, старик! Не пререкайся! Ты говоришь со старшим по званию!

Я поджег газовую конфорку под колонкой, закурил сигарету и уселся на край ванны. Дым сладко и душно шибанул в голову. Затянулся круто, и голова стала надуваться и расти, как давеча, когда я был счастливым беззаботным зародышем, еще не убитым судьями ФЕМЕ.

Ровно гудело красно-синее пламя горелки, прыгали там огоньки, короткие и жадные, как кошачьи язычки, шумела вода из крана, и огорченно-сердито бубнил под дверью Евстигнеев. Вот, Господи, напасть какая — взяли они меня в клещи: с одной стороны — ватный кабан-стукач, с другой — замшевая злая крыса. Влез под душ, запрокинул голову, и струйки дробно, весело застучали по лицу. Они ласково стегали кожу, крепко гладили, усыпляли, успокаивали, шептали: ду-ш, до-ш, до-ш, до-ж, до-ждь. Но я помнил, что это не дождь,

потому что такой мягкий дождь бывает только в мае и пахнет он травой и землей. А сейчас был июль, и пахло мочалками, скверным мылом и потом.

И Евстигнеев заходил под дверью:

— Поговорим... в... другом... месте...

Интересно было бы узнать поточнее этот метафизический адрес «другое место», в котором обычно собираются потолковать рассерженные друг на друга сограждане. Беда в том, что мало кто из них после этих разговоров оттуда возвращался.

Вытерся полотенцем и пошел к себе, за мной тряся рысью Евстигнеев, хрипел, булькал и рычал, и я боялся, что он меня цапнет стертými резцами за икру. Уселся за стол, пригубил кофе, тут и Лев Давыдович счел увертюру законченной. Он прокашлялся, будто на трибуне, и сказал своим невыносимо культурным голосом:

— А у Антона очень большие неприятности...

Вот те на! Антон — неукротимый удачник, ловкач и мудрец, всегда благополучный, как таблица ЦСУ!

— Что с ним?

— С ним, собственно, ничего, но... — Выжидательно поблескивали желтые алчные бусинки под синеватым отливом модных очков.

— Слушай, Красный, брось мычать — говори по-человечески!

— Дело в том, что Димка трахнул какую-то девку, и...

— Ну и что? — нетерпеливо перебил я. — В его возрасте я это делал регулярно, и моих дядей не будили по такому поводу спозаранку!

— Но ты при этом, наверное, спрашивал у своих девок согласия?

— Лева, женщин не надо отвлекать пустыми разговорами — им надо дать себя в руки.

— Племянник оказался глупее тебя — он сам ее взял в руки и, как любит выражаться твой брат Антон, сделал ей мясной укол...

— А она что?

— А она с папой своим пошла на освидетельствование. Твой племянничек эту идиотку дефлорировал, — мерзким своим культурным голосом объяснял Жовто-блакитный.

И мне казалось, что он получал от всей этой пакости громадное тайное наслаждение. На лице его был пылкий налет озабоченности, всем видом своим он изображал готовность и решимость помочь Антону выпутаться из постыдной истории, в которую тот вляпался благодаря своему похотливому крестину. А я ему верил. В его бесцветном культурном голосе была еле слышная звонкая нотка счастливого злорадства: ну-ка, братцы Епанчины, покажите-ка себя как следует, вы же такие молодцы, красавцы и счастливыцы, вы же такие

баловни жизни, вы же такие любимцы женщин, вы же наша замечательная элита, наш лучший в мире «истеблшмент»! А в суд не ходите? А с партбилетом в зубах к товарищу Пельше? А вообще, рожей по дерьму? Как? Нравится?!

— Что же делать? — спросил я растерянно. — Они ведь в милицию пойдут?

— Этого нельзя допустить, — отрезал Красный.

— А освидетельствование? Это же официально? — закричал я.

Красный поморщился:

— Не впадай в истерику. Ты человек юридически безграмотный...

— А какая тут нужна грамота?

— Изнасилование относится к делам частного обвинения — оно не может быть возбуждено без жалобы потерпевшей. Пока они не пошли в милицию — еще можно все уладить...

— Как уладить? Зашьем ее... обратно? Что тут можно уладить? Там, небось, вся эта изнасилованная семья по потолку бегает! Они Антона с Димкой в порошок сотрут!

— Не сотрут! — твердо взмахнул узкой острой головой Красный. — Я уже говорил с отцом...

— Да-а? И что?

— Сейчас мы с тобой поедem к ним.

— К кому? — не понял я.

— К потерпевшей. И к ее замечательным родителям. Ее зовут Галя Гнездилова, а его — Петр Семенович.

— А я-то зачем поеду? В каком качестве? Подтвердить породу? Или оценить качество работы?

Красный терпеливо покачал головой, смотрел на меня с отвращением.

— Алеша, ты — писатель, хоть и не генерал, но все же с каким-то имечком. Поэтому ты и будешь главным представителем всей вашей достойной семейки. Они ни в коем случае не должны знать, что Антон — начальник главка, иначе нам с ними никогда не расплестись...

— Ничего не понимаю, бред какой-то. Они что — писательского племянника пожалеют, а сына начальника главка загонят за Можай? В чем тут логика?

— Мы их с тобой не будем просить о жалости. Мы им предложим ДЕНЕГ! — сказал он сухо и отчетливо. Будто дрессировщик щелкнул шамберьером над ухом бестолкового животного.

— Денег? — переспросил я ошарашенно. — А почему ты думаешь, что они возьмут у нас деньги? Почему ты решил, что они хотят денег?

Красный коротко хохотнул:

— Алеша, не будь дураком — денег все хотят. И деньги могут все.

— Так-таки все?

— Все. Если бы у меня вот здесь лежало сто тысяч, — он почему-то показал на маленький верхний карманчик куртки, — я бы вас всех купил. И продал бы, да, боюсь, покупателя не найти...

— Черт с тобой и со всеми твоими куплями-продажами. Но почему я должен предлагать ему деньги? А не Антон?

— Потому что ты как бы свободный художник — личность нигде не служащая, беспартийная, состоящая в одинаково бессмысленной и почтенной для дураков организации — Союзе писателей. Поэтому наш контрагент сообразит, что если мы не сойдемся в цене, то допечь он тебя никак не может, а деньжата при тебе останутся.

— А Антон?

— Антон — крупный деятель, член партии. Если эта история выплывет на свет, он сгорит. Поэтому изнасилованный папа, при некоторой напористости, разденет его до исподнего и доведет до полного краха. Ты пойми, что речь сейчас даже не о Димке, а обо всей карьере Антона...

— А где он сейчас, Антон?

— У себя в кабинете, сидит на телефоне.

Я механически прихлебывал кофе, не ощущая его вкуса, и меня остро томили два желания — выпить пива и вышвырнуть крысу в коридор на съедение кабану. Голова моя утратила свою ночную легкую воздушную округлость, она стала квадратной и тяжелой, как железный ящик для бутылок, — мои немногие мысли и чувства были простыми, линейными, они обязательно пересекались между собой. Досада на племянничка, прыщавого кретина, а поперек — жалость к Антону. Нежелание вмешиваться в эту грязную историю — и боязнь ужасного по своим последствиям скандала. Отвращение к Красному — и сознание, что только этот смрадный аферист может как-то все уладить. Стыд перед Улой — и возмущение: я-то тут при чем?..

Но было еще одно чувство, которое я всячески гнал от себя, а оно ни за что не уходило. В моем бутылочном ящичке, где все эти нехитрые мыслишки и чувства уже сложились в удобные тесные гнезда для спасительного груза дюжины пива, начал потихоньку копиться ядовитый дымок страха.

Это был один из видов моих бесчисленных страхов — страх приближающейся опасности. Вообще-то, у меня полно разных страхов, из меня можно было бы устроить выставку, настоящую музейную

экспозицию страхов. Как в этнографической коллекции, они развиваются у меня от каменного топора — простого ужаса побоев до последнего достижения нравственного прогресса — опаски рассказывать политические анекдоты в компании более трех человек.

Страх, легкое дуновение которого я ощутил сейчас, был полупрозрачный, сизо-серого цвета, холодноватый, чуть шуршащий, он сочился из-под ложечки. Ах, если бы кому-нибудь удалось взглянуть на стенды моего музея — ведь там все мои кошмары экспонированы в цвете, звуке, в месте возникновения, там есть температурные и временные графики, таблицы социальной, семейной, сексуальной трусости, там стоят на тумбочках гипсовые слепки моих подлостей, окаменелые скелетики предательств, игровые диорамы моей изнаночной, вчерне проживаемой жизни...

Вот этот еле заметный предвестник опасности — быстро шевельнувшийся во мне сполох страха — заставил меня отшвырнуть чашку и, матерясь, полезть в брюки. Я не вышвырнул крысу в коридор, а стал собираться с ним к несчастному папе Петру Семеновичу Гнездилову, к его вонючке, которая сначала хороводится с этими лохматыми онанистами, а потом ходит на освидетельствование. Дело в том, что я почувствовал, даже не формулируя для себя: это довольно паршивое происшествие для всех нас, для всего нашего дома, и так просто оно не закончится.

Натягивая носок, я злобно бурчал себе под нос:

— Безобразие какое! Ну как тут можно книгу закончить? Каждый день какая-то пакость приключается! Дня нет покоя! Только соберешься, сядешь, тут бы сосредоточиться как следует — и пошло бы, пошло! Так нет же! Что-нибудь мерзопакостное уже прет на тебя, как поезд...

— Ты еще забыл о своем сердце, — сказал с серьезным лицом Жовто-блакитный.

— А что? — поднял я голову — сердито и подозрительно.

— Ничего — я просто вспомнил, что у тебя еще больное сердце. —

И гадко усмехнулся.

Я долго смотрел на него, прикидывая — к чему бы это он?

И сказал ему очень внушительно:

— Заруби себе на носу, Лева, — мое сердце тебя не касается!

— В общем-то, нет, конечно, не касается. — Он пожал плечами. —

Но относясь к тебе симпатично...

— Заруби себе на носу, что мне наплевать на твоё отношение ко мне. И мои дела и болезни тебя не касаются! Заруби это крепко на своем носу!

— Оставь мой нос в покое, — недовольно сказал Лева. — Поехали.

В коридоре бесшумно катился нам навстречу Евстигнеев — он уселся переобуться, несмотря на жару, в подшитые валенки.

— Вот же он, Алексей Захарыч, дружок-то ваш... Вот же он!

И все всматривался, цепко, по-собачьи в костистую острую рожу Красного, запоминал старательно, взглядом липким, приставучим лапал, щупал его рост, одежду, особые приметы — а вдруг придется еще показания давать, не может он, ветеран службы, позорно мямлить: «не запомнил»! На то он и поставлен ответственным по подъезду, на то он и есть у нас старший по квартире, на то и служит внештатным участковым инспектором, чтобы все запоминать, все слышать, всех знать!

И хотя не до него мне было, а отказать себе в удовольствии не смог:

— Познакомься, Лева, с этим милым человеком...

Крыса вежливо показала желтые клыки, протянула сухую лапку, культурным голосом рокотнула:

— Красный.

И кабан тряпочный пихнул ему свою подагрическую лопату:

— Евстигнеев — мое фамилие, значица. С большой приятностью...

— Лева, это наш Евстигнеев, прекрасный парень, — сказал я. — Но у него, сукина кота, склероз стал сильнее бдительности. Написал на меня донос в милицию, прохвост эдакий, и по безумию своему опустил его в мой почтовый ящик.

Евстигнеев ухватился за грудь, будто собрался, как Данко, вырвать свое пылающее сердце пенсионера конвойных войск и осветить воночную сумерь грязного длинного коридора. Красный испуганно отшатнулся. Но Евстигнеев сердце не вырвал, а только сипло и задумшевно сказал:

— Неправда ваша, Алексей Захарыч! Не доносил я! Сигнализировал. Правду сообщал. В нашу родную рабоче-крестьянскую милицию. Для вашего же, можно сказать, блага и пользы! Чтобы провели с вами разъяснительную работу о недопустимости пьянства! Особенно среди писателей, людей, можно сказать, идеологических. Сиг-на-ли-зи-ровал!

На харе его был стукачевский восторг, искренняя вера в почтенность его гнусного занятия. Я и злиться не стал — плюнул и повлек за собой остолбеневшего Красного.

Вчера — спяна — закатил я «москвича» двумя колесами на тротуар. Сейчас он был какой-то весь скособоченный, задрызанный,

в ржавчине и потеках, несчастный, как заболевший радикулитом старый холостяк. На капоте кто-то написал много похабных слов, а на лобовом стекле вывел: «Хозяин — дурак!»

Вот уж что правда, то правда!

На сияющем «жигуле» Льва Давыдовича никто такого не напишет!

2. УЛА. МОЙ ДЕД

- Суламита! — позвал меня дед.
- Что, дед?
- Ты не спишь?
- Нет, уже не сплю.
- Ты горюешь?
- Нет, дед. Я грущу.
- Ты грустишь из-за него?
- Из-за всего. Из-за него тоже.
- Он ушел навсегда?
- Он вернется.
- Почему же ты грустишь?
- Он уйдет снова. И вернется. И уйдет.
- Почему, янике, почему, дитя мое?
- Я старше его.
- Намного?
- Прилично. На два тысячелетия...
- Ай-яй-яй! — огорчился дед. — Он — гой?
- Да.

Дед долго молчал, раздумывал, старчески кряхтел, потом спросил мягко:

- Суламита, дитя мое, ты полна горечи и боли. Ты любишь его?
- Да, дед.
- За что?
- Он умный, нежный, он кровоточит, как свежая рана.
- И все?
- Он — мой сладостный муж, он дал мне незабываемое блаженство.
- И только?
- Он — мой ребенок, отнятый злодеями, изуродованный и вновь найденный мной.
- А что они сделали с ним?
- Он пьяница, трус и лжец.
- Он знает, кто мы?

— Нет, дед. Не бойся: я не открыла ему великую тайну. Да он и не поверит.

— Это хорошо, — тихо засмеялся дед. — Суламита, янике, ты ведь знаешь, что плод, зачатый от них, принадлежит им.

— Дед, среди них есть масса людей прекрасных!

— Конечно, дитя мое! — прошелестел в темноте дед. — Но им не вынести такого...

— Почему же мы выносим? Как нам достает сил?

— Мы — другие, Суламита. Мы — вечны. Каждый из нас смертен, а все вместе — вечны.

— Почему, дед?

— Мы дети незримого Бога, чье истинное имя забыто. Он послал нас сюда вечными хранителями очага жизни. Из нас — тонких прерывистых нитей — он сплел нескончаемую пряжу жизни. Мы не можем погасить огонь, и не в наших силах прервать великую пряжу. Мы не вернемся в наш мир, не выполнив завета.

— Дед, почему наш Бог невидим?

— Мы не нуждаемся в образе Божьем. Мы носим Бога в сердце своем. И как нельзя заглянуть человеку внутрь сердца своего, так нельзя увидеть Бога.

— Всякий может уговорить себя, что у него в сердце Бог.

— Нет, — засмеялся тихо дед. — Или у тебя в сердце Бог — и ты это знаешь точно. Или твое сердце — глиняная кошка с дырочкой для медяков.

— Почему же Бог так карает нас?

— Всех людей карает Адонай Элогим за нарушенный завет, но другие народы рассеялись, как мякина на ветру, иссякли, как дождь на солнце, изржавели, как потерянный в борозде лемех. А мы живы. И несем память своих мучений.

— Дед, объясни, почему я, почему мой крошечный дом должны нести ужасное бремя страданий за давно нарушенный завет? Разве я виновата?

— Нет, Суламита, твоей вины нет. Когда ты родилась?

— Девятого тишри пять тысяч семьсот восьмого года.

— Видишь, как давно мы пришли! Дом твой — каменный стручок на усохшей ветке сгоревшего дерева. И сама ты — зеленый листок с дубравы Мамре. Не ищи простых объяснений, отбрось пустые слова. Ты — живая нитка вечной пряжи, протянутой сюда из нашего мира...

Тающая темнота клубилась в окне. Дед замолчал. Теперь он будет молчать долго. Я встала с постели, прошла через комнату, и холодный пол нервно ласкал босые ноги. Уселась на подоконник и стала

смотреть в пустой колодец двора. Угольная чернота ночи выгорела дотла, и со дна поднимался серый рассветный дым. Надсадно шипела где-то недалеко поливальная машина. Зябко. Я видела пролетающий над домом голубой ветер, он нес меня на себе, трепещущий зеленый листочек.

И, закрыв глаза, слушала тонкий звон приближающегося света.

— Суламита! — шепнул дед.

— Что, дед?

— А почему он так смеялся, глядя на меня?

— Его рассмешил твой картуз, твои пейсы, твоё пальто, застегнутое, как у женщин, на левую сторону...

— Да-а? — озабоченно переспросил дед, подумал немножко и спросил ласково: — Суламита, дитя мое, может быть, им не надо показывать меня?

Я слезла с подоконника, подошла ближе и посмотрела ему в лицо, и глаза его были в моих глазах. Блекло-серые, выгоревшие от старости. Девяносто четыре года. Какой он маленький! Сухие неподвижные губы.

— Дед, как же мне не показывать им тебя? Я последний побег твоей усохшей ветви. Ты — начало, я — конец, ты — память моя, а я — боль твоя, ты — разум мой, а я — око души твоей. Дед, ты — это я. А я — это ты...

3. АЛЕШКА. СГОВОР

Они жили в старом пятиэтажном доме, где-то за Сокольниками. Кажется, этот район называется Черкизово. А может быть, нет — я плохо разбираюсь во всех этих трущобах. Человеку, который здесь родился, не стоит на что-то надеяться — его жизнь всегда будет заправлена кислым тоскливым запахом нищеты.

Я шагал за Красным по темной лестнице и прислушивался к похмельной буре в себе, а Лева бойко, петушком скакал по ступенькам, и сзади мне видна была его тщательно зачесанная лысинка — белая, ровная, как дырка в носке. Он мазал свои волосенки «кармазином», и запах этой немецкой дряни пробивался даже здесь — сквозь кошачью ссанину и тухлый смрад плесени и пыли. Интересно, хоть какая-нибудь заваливающая бабенка любила Леву? С ним, наверное, страшно спать — просыпаешься, а рядом в сером нетвердом свете утра лежит на подушке покойник. Тьфу! Нет, с ним можно спать только за деньги.

На двери было четыре звонковые кнопки с табличками фамилий, и Лева, близоруко щурясь, елозил носом по двери, отыскивая нужный ему звонок. Сейчас он был особенно похож на крысу, приножи-